

Галина БАТЮК

РАССКАЗЫ

ПЛАНИДА

В первобытные времена детства все явления на свете имели свой запах как имманентное, неотчуждаемое свойство. Но я и сейчас иногда вздрагиваю, когда, например, открываю новую бутылку моющего средства для посуды: ведь так, оказывается, пахли прошлогодние экзамены. В детстве, однако, все было острее и резче, как у тех британских летчиков, которых, по легенде, перекормили черникой, и они стали видеть на сто пятьдесят. Пахла ладаном мамина (и моя, как я думала) церковная работа, пахла безлюдностью и заброшенностью открываемая после зимы дача, пахли отсыревшими булками поездки на кладбище.

Поездки на кладбище — отдельная история. Вначале нужно было испечь булки, а это, как минимум, заказать мешок муки и ждать целый день. Бабушка готовилась встречать всегда чертыхающегося за то, что живем на пятом этаже, муковоза, и когда звонили в дверь, почему-то командовала мне на всякий случай: прячься. Зачем «прячься», почему «прячься»? Единственное, чем я могу это объяснить, муковоз — все-таки девянотые на излете — мог оказаться бандитом размаха души Раскольников. Я неслась в дальнюю комнату, прижималась спиной к стене, становилась максимально плоской и по возможности белой равносущно этой стене. По дороге в машине меня укачивало, поэтому нужно было ехать стоя, держась за передние сиденья. Таня везла нас и любовалась моей бело-зеленой физиономией, отражающейся в зеркале: «Ох, и красивая ты, Галка. Наверное, рано замуж выйдешь». — «Нет, не выйду, мне еще нужно три института закончить: исторический, музыкальный и травологический». Бывало, нас останавливал гаишник, и если была Пасха, мама зачем-то совала скучающему блюстителю крашеное яйцо: «Христос Воскресе!» — «Спасибо», — говорил гаишник, и мы ехали дальше. Потом мы продирались сквозь вязкий тошнотворный снег, крошили на столик отсыревшие булки, пели «Душа ее во благих» и служили панихиду. Я тогда слабо представляла, что такое смерть, и любила разнообразить действо комментариями вроде: «Бабки, молитесьверху жопий» (я и впрямь была смелее в то время). Отец Александр (или еще там уже не помню, какой отец) изо всех сил прятал улыбку в бороду, но у него ничего не выходило. На кладбище случались свои местные чудеса: с дерева иногда спускался дятел или белка, ворующая конфеты, а сами деревья обступали нас в кольцо полукругом (сейчас мне кажется, что я тогда чувствовала это свойство деревьев, почти как Пастернак, но, возможно, я завралась), и сквозь них проходил отфильтрованный негреющий мартовский свет. К пониманию смерти с тех времен прибавилось немного. Мне все кажется, что свидетельство о смерти — это такая формальная отписка, какую дают, когда обращаешься в администрацию: как-то все умно, а до сути не доберешься. Почему-то в двух почти одинаковых по безысходности случаях

Галина Михайловна Батюк родилась в 1995 году в Барнауле. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет (направление — история искусств). Публиковалась в журналах «Алтай», «Культура Алтайского края», «Роман-газета». Учится в магистратуре НИУ ВШЭ (направление — литературное мастерство). Живет Живет в Москве и Барнауле.

при прочих равных одного спасают, а другого — нет. Все встало на место на уроке биологии в одиннадцатом классе. Учительница спрашивала, почему клетки эмбриона знают, как им делиться: вот нервные клетки знают, что они нервные, и посреди них анклавом не вырастают какие-нибудь глупые кишечные энтероциты. Все стали строить теории, а учительница сказала, что никто не знает, а ежели узнает, то тому умнику дадут Нобелевскую премию. А может, и не надо этой Нобелевской премии, иначе вдруг бы мы все с ума сошли от такого знания. Тогда круг замкнулся или, напротив, распрямился лопнувшей дугой и стал лучом с двумя выколотыми точками по краям — конец и начало. На кладбище бабушка давала инструкцию, кого куда положить (вроде бы в воздух, а на самом деле — мне): вот с этой стороны от Олеси, у елки (беда только, что елка может разрастись, придется корчевать) — ее, бабушку, с другой — маму, смотри не перепутай. Места по правую и левую сторону, слава богу, все еще свободны, я ношу Олесин свитер, который мне очень идет, и жалею только об одном: у всех сестры как сестры, а у меня — ангел. Мне так всегда хотелось, чтобы был человек, которому можно было бы вышептывать все свои секреты ночью, кто был бы за меня и про меня при любом раскладе, будь я худая, толстая, злая, выигравшая олимпиаду или завалившая экзамен.

А вот запах дерева мама шибко не любит — видимо, есть причины. Опять была Пасха, и одна женщина, чтобы облегчить маме послеродовые страдания (самая гуманная медицина в мире с этим, понятное дело, не справилась), зачем-то принесла ей в роддом и поставила на тумбочку деревянную свежеструганную форму для твoroжной пасхи. Маме казалось, что она уже в гробу или где-то около, просила моего крестного удочерить меня, если что, а он рыдал так, что слезы летели по траектории параболы, как у клоуна в цирке, и целовал мамину руку со вспухшими от капельниц венами. Но весна на улице неистовствовала, бордюры и стволы деревьев до половины покрасили в белый, и все обошлось.

Может, от этой памяти о возможной угрозе мой день рождения всегда отмечали как-то особенно отчаянно. Приходили в основном «церковные», мне тогда казалось, что вся Никольская набивалась в нашу хрущевку, возможно, для того, чтобы просто поесть. Я, конечно очень вредная, родилась в пост, не могла потерпеть чуть-чуть, поэтому мама изошрялась в искусстве кормления пирогами с грибами и картошкой. Мне нравилось, как дробится электрический свет сквозь дешевые стеклянные сережки женщин, как голоса смешиваются в какофонию предконцертной оркестровой настройки, как весело от всех пахнет духами и немного вином. На прощание я проделывала последний трюк. У нас до того, как мы разломали квартиру и сделали какой-то новомодный холл, был длинный, нескладный коридор-удав с оценкой «два» по функциональности. Я разбегалась по нему, как по взлетному полю, и запрыгивала на свою жертву, обвивая ее руками-ногами наподобие спрута. Под эту атаку попадали порой гипертоники и остеохондрозники, но детская любовь беспощадна и неотвратима, как первый весенний ливень. Потом они на ощупь шагали в вечно темный подъезд, как в открытый космос, и исчезали. Иногда мне кажется, что где-то там они и застряли, растворились в плотных слоях атмосферы.

С тех пор дни рождения празднуются все с меньшим размахом: кто-то умер, кто-то уехал. В моем нерафинированном дикорастущем детстве были советские фильмы, деревенский бесцензурный фольклор, душеполезное чтение, классическая музыка, рассказы про революцию, раскулачивание и домовых. Может, поэтому я — сквозь все свои панические атаки, навязчивые расстройства и прокрастинацию — вот уже двадцать три года чувствую запахи отчаянно остро, как отравленный радиоактивным веществом, и вижу свет: и тот, что льется медовой струйкой с чердака бани на даче (в котором — о чудо, — как увязшие мухи, пыль), и тот, что лазерной указкой скользит по апостолам

в апсиде, и тот, что прорывается в темную аудиторию и выхватывает, как прожектор, из мрака голову лектора, подсвечивая ее ореолом почти нимба. Я слушаю его и — спасибо, Господи — теряю единственное, что только есть у меня, — дар речи.

* * *

Смерть была не отвратительной оскалившейся старухой, или жуткой, мерещащейся даже в чашке чая образиной, или горбатым монстром, притаившимся в темном углу комнаты, или — классика жанра — черным балахоном с занесенной во взмахе поблескивающей косой. Она была нашей данностью, повседневной обыденностью, записью в каком-то там журнале, тихим Валиным голосом: «После венчания через полчаса отпевание — нужно успеть все приготовить».

Все звезды сошлись одновременно за и против меня: непереносимость лактозы как знак проклятия невыживаемости в детсадовской маннокашной среде, крепкая, как сургуч, мамина любовь, перемешанная с отравой страха за меня. Так, конечно, иногда бывает, что дети ходят на родительскую работу, но в моем случае — какая-то управляющая микросхема, видимо, полетела — достался не офис, где сидят сотрудники со стерильными, как бумага «Снегурочка», лицами, а церковь.

Я проходила эту жизнь экстерном и не задавала лишних вопросов на онтологические темы. Соседка, практикующая половое просвещение среди неокрепших душ, бежала за мной с книжкой, трясла перед моим лицом картинкой, где была изображена как будто скомканная роза: «Галя, вот ваша Мурка родила четырех котят. Скажи, как ты думаешь, откуда они взялись?» — «Мурка четыре раза повенчалась — вот их и родилось четверо».

Про смерть я тоже не спрашивала — я ее рассматривала, лицезрела. Когда гроб уже стоял, а отпевание еще не начиналось, я, проходя мимо, останавливалась, опиралась на край, обитый кусачим бордовым бархатом, заглядывала бездне в лицо, крестилась и шла дальше. Прихожанки крестились на меня и охали.

Но одно дело — бабки — божьи одуванчики, отправляющиеся в вечное плавание в лодках-гробиках, все в униформе: белая косынка, цветастая кофта (далее не видно), другое — когда это случалось с кем-то из работников. Мы все были сообщающимися сосудами, такой компьютерной системой, когда данные рассредоточены по всем устройствам, и если кто-то один выходил из строя, все летело — не к месту будет сказано — к чертям.

В морозное крещенское утро Паша, церковный завхоз, в последний момент прыгнул в люльку подъемного крана и полетел с мужиками устанавливать купол на Никольской. Люди — маленькие муравьи — и дома-коробочки уменьшались и растворялись в клубах холодного январского воздуха с высоты стрелы крана. Паша может согнать группу каких-нибудь бомжей и организовать строительство дачи и копку картошки, мог бы, например, если бы родился в другое время, командовать если уж не полком, но точно батальоном, но при этом он панически боится высоты. Паша спустился вниз белый, изменившийся в лице и, кажется, счастливый. В тот день в минус тридцать появилась радуга — и мы решили, что Андрюша, Пашин сын, выживет, что все мы, бегающие с копилками по народившимся тогда нуворишам, сильнее, чем какой-то там рак.

Но уже в мае мама вздрагивала от каждого телефонного звонка, и когда большой, как черепаха, желтый аппарат захрипел и затрясся в очередной раз, она, не дослушав, схватила меня за руку и, забыв сменить тапочки на туфли, выбежала на улицу. Мы бежали вниз по лестнице, бежали по Ленинскому сквозь поток машин, не смеющих нас давить. Я кричала: «Мама, у тебя тапочки», но она меня не слышала. В больнице, в палате, залитой наглым от своей юности майским светом, люди уже стояли на коленях

и читали канон об отхождении души от тела, и солнце гладило их по голове. Мама оставила меня у дверей и бросилась в этот разящий свет. Последнее, что я увидела сквозь приоткрытую дверь, — Андрей отвернулся лицом к стене, и медсестра стала оттаскивать меня от палаты. Сначала я сопротивлялась, потом притихла — впрочем, я уже успела узнать, как люди становятся ангелами.

Но все это были какие-то легкие смерти, случавшиеся как бы до обретенного знания. Лет в пятнадцать кто-то словно подставил значения для «х» и «у» в нерешенный пример, но это оказалась вредоносная информация, как та, что змей нащептал Еве. Мой знакомый по танцевальной студии старше меня года на два спрыгнул с моста на железнодорожные пути. Две мысли, как два шарика на уроке физики, сталкивались и расходились друг от друга: как мог этот смешной худющий рыжий длинный человек кружиться в вальсе на три такта — раз-два-три, раз-два-три, — случайно приступая мне на пальцы, а потом вот этими же самыми ногами взять и шагнуть в пропасть?

С тех пор я просыпалась в холодном поту посреди ночи, слушала в тишине, как исправно отсчитывает удары мое сердце, и пыталась усмирить в себе клокочущую волну ропота: как это так, что настанет момент, что время будет существовать, а я нет, чья это недобрая шутка, зачем столько расточительства, столько пустых стараний, чтобы меня материализовать, а потом выключить? Но каждый раз случалось доброе утро, и я предательски забывала всех своих вечно семнадцатилетних друзей и вечно шестнадцатилетних сестер и начинала снова тратить свои дни так же бездарно-беспечно, как если их было уж не то чтобы бесконечное множество, то, по крайней мере, столько, сколько было у ветхозаветных героев.

* * *

Бабка Нюра смотрела наотмашь, навывлет. От ее металлического неморгающего взгляда птица замирала в полете, у человека подкашивались ноги. Она смотрела на меня так пристально, так неотрывно, что когда я, маленький пятилетний паук, полезла на стол включать верхний свет (выключатель был высоко), стол заплясал подо мной и сбросил на пол, как взбрыкнувший конь. Я разбила висок до крови, до дырки, которая, затянувшись, оставила все же небольшой след, смотря на который одноклассницы-ехидны спрашивали меня, не пробовала ли я когда-нибудь застрелиться. Даже если косметология уже дошла до той стадии просветленности, чтобы сводить любые бородавки и шрамы, вряд ли когда-нибудь я стану пытаться удалить эту отметину — пусть будет, как татуировка на память.

Бабка Нюра все события, случайные и преднамеренные, большие и малые, все причинно-следственные связи, все войны и эпидемии, рождения и смерти объясняла двумя словами — планида такая. Что такое планида, я не спрашивала, и вообще ни о чем ее не спрашивала, потому что бабка Нюра считала меня дефективной по причине моего происхождения от матери-одиночки и презрительно добавляла к моему имени в качестве отчества исковерканное мамино имя. Я не знала, что такое планида, не знала, как с ней правильно обращаться, и поэтому я тихо произносила это слово вслух, перекатывала во рту, как конфету с неизвестным вкусом, и мне казалось, что планида — это что-то сферическое, как планета, темно-синее или фиолетовое с вкраплениями, как звездное небо в августе в горах, шарообразное, купольное, как парашют, готовое раскрыться над тобой и тебя же прихлопнуть, что-то большое, висячее, как огромная хрустальная люстра в театре, и ты сидишь во время спектакля, жалкий обсессивно-компульсивный невротик, и думаешь: только бы она на тебя не упала, только бы не упала. Это что-то защитное, обнимающее тебя, как мотоциклетный шлем, и что-то

одновременно опасное, опутывающее, как медуза. Это что-то, что умнее тебя, что старше до и после, безличное и безразличное, как космос, какая-то бездна, которая смотрит в тебя и моргает.

Планида бабки Нюры была в том, чтобы родиться где-то в западных плодородно-медовых землях, кажется Белоруссии, долго ехать через всю Евразию в дикую страну Сибирь, наряжаться по воскресеньям в костюм-парочку, умасливать волосы, заплетать их в толстую, как корабельный канат, блестящую косу, подвязывая ее ленточкой, присланной братом из армии, и идти в церковь (Нюра шла по улице, и местные девки завистливо цокали языками на ее косу и стать: выше сибирячек на полголовы), потом выйти замуж в шестнадцать, естественно, не от любви, и дальше, как по писанному, добывать хлеб — в поте лица, рожать — в муках, хоронить детей и опять рожать, отдавать зерно для экспроприации (наверняка ведь не выговаривала этого слова — расписывалась крестиком) и сажать картофельные очистки вместо картофеля во время войны.

Бабки-Нюрины металлические глаза никого не любили, но вряд ли в этом виновата она сама. Любил ли кто-то бабушку Нюру? Не знаю, наверное, дети, которые — одним больше, одним меньше — не суть (их было одиннадцать) — ее любили. Когда цыганка нагадала ей, что она умрет в сорок лет, дети облипли ее мокрым сопливым комом и выли: мама, не умирай. Мама и правда не умерла тогда, а умерла потом, в девяносто лет. Анна Михайловна Гуменюк просто захотела умереть — и умерла. Нет, она ничего не сделала, просто пришло время, и она не стала с ним бороться, не стала истерить, как истерят толстые женщины в платьях в мелкий цветочек на базаре за недовесок в пятьдесят граммов. Дети ее ссорились из-за того, кому ее хоронить, словно перекидывая эту честь от одного к другому: нет, ты — нет, ты. Когда в квартиру, где стоял гроб, набилось уже достаточное количество людей, которые не видели друг друга очень давно, Г., самый интеллигентный из них, доцент, попросил ножницы, потому что по средам он всегда стрижет ногти. Кто-то передал ему ножницы, кто-то другой тихо заматерился. Я уснула, свернувшись на кресле, в двух метрах от гроба, и совсем не боялась мертвую бабушку Нюру, потому что мама всю ночь читала Псалтирь. Мама пообещала это бабке Нюре, потому что забыла, как на простом деревенском наречии назывались матери-одиночки. Вообще-то, у мамы тяжелая рука, она бьет с размаху, но потом просит прощения и ничего не помнит.

Когда я смотрю на себя в зеркало, я совсем не вижу в отражении белоруски бабки Нюры. Каким-то хитрым путем мне подмешали казахскую кровь, а капля восточной крови, как мускус в бочке воды, предательски себя выдает, и меня то и дело записывают в потомство татаро-монгольского ига. Но иногда такое чувство, что как будто внутри меня переكاتи-поле, и оно начинает медленно распрямляться — тогда я знаю, чей это скрипучий голос сейчас говорит во мне.

В возрасте двадцати, кажется, начинает приходить просветление. Я стою на балконе пятнадцатого этажа, головой задеваю тяжелое северное небо, цензурирующее звезды, смотрю, как догорающий пепел от моей сигареты плавно пикирует вниз, и загадываю, чтобы он не поджег соседний балкон. Над всеми нами планида: над бестолковой мной, над жужжащим где-то сверху самолетом, вылетевшим из Пулково, над бомжом, роящимся в мусорке. Есть такой праздник — Покров, очень русский праздник. Желательно, чтобы снег выпадал на Покров, но снег нынче не дисциплинирован, бывает по-разному. В моем понимании, за те почти сто лет, что жила бабка Нюра, планида могла стать более человеколюбивым началом, не языческим древнегреческим фатумом, а добрым русским Покровом, распростертым пуховым платочком, в который рано или поздно всех все равно поймают и завяжут, как в мешок, и пойдут вытряхивать к Пулковским (тут близко) высотам, а мы будем лететь и смеяться.

* * *

С тех пор как я оказалась в Петербурге, все не переставала задаваться вопросом: какая же здесь весна? Собственно, интересовалась я и другими, не менее значимыми проблемами: какое здесь небо, какая вода, какой снег? И все мне, конечно, казалось иным, чужеродным, слепленным из другого теста. Небо — какое-то длинное, полугое, огромное, растянутое, как простыня на веревках. Солнце — главная загадка; день его нет, два нет, неделю нет, счет потеряла. И вот думала-думала я, представляла себе весну, тоже другую. Казалось, что придет она такая же серенькая, такая же невзрачнейшая, как все остальные здешние времена года, придет, как укутанная бабка на рынок, что и лица не разберешь, развесит свое темное тряпье и сделает этот город еще серее. И пойдет серыми паутинами Нева, заскворчит, зарычит, как разбуженный зверь, встрепенется и лопнет. И представлялось, что пострадать нужно за такую весну хорошенько. По лужам походить, ноги промочить, горло простудить, а там, глядишь, и выкатит кто на небо желтый тепленький ровный кружок. А весна пришла совсем по-другому. Она пришла, как маленькая, чуть нагловатая девчонка в веснушках, она как будто ворвалась в чью-то квартиру, хохоча и прыгая на одной ноге. Ни хмари, ни морока, ни мороси — солнце одно и небо одно. Солнце дробится на тысячи солнц и самодовольно плавает в чернеющей воде. Пахнет пылью, утоптаннми дорогами и майскими праздниками на даче, которую давно продали. Мне сказали, чтобы не обольщалась. Что, мол, ненадолго. Женщина, покупавшая в аптеке антидепрессанты и витамины, говорила, что такая весна — в награду за серую зиму. Бог знает за что и за чем, а только сердце мое растаяло чуток. И показалось, что весна эта как раскрепасная девица с длинными косищами, теплая спрсонок, завернутая в одеяло, пришла откуда-то с моей родины. Она идет, а за ней одеяло тащится, а там разные-разные не то лоскутки, не то кусочки разграфленной земли, которые видно, когда самолет взлетает: белые — гречиха, желтые — подсолнушки, золотые — пшеница.

Конечно, прав был Шпаликов, когда писал: «Путешествие в обратно // Я бы запретил, // Я прошу тебя, как брата, // Душу не мути», но все-таки... Однажды в моем маленьком городе мы встречали весну. На берегу полноводной сибирской реки стояли трое: первая — в коричневое пальтецо одетая женщина с еще пока ясным, сияющим взглядом, который так беззастенчиво выдает когда-то бывшую бодрую и простую крестьянскую красоту, вторая — моложе, с гривой каштановых волос, с чертами тонкими и глазами печальными, третья — еще совсем девочка, про третью ничего не буду говорить, третья — я. Это был первый и последний раз, когда мы встречали ледоход. Обь взрывалась, вскрывалась, с шумом отторгая застывшие льдины. То ли в шутку, то ли всерьез мама сказала, чтобы я помахала рукой проплывающим на льдине зайцам. И добавила еще что-то из Некрасова. Мне вот скоро пойдет третий десяток, а я все не разобралась с теми зайцами: были ли, не были ли на самом деле, а от мамы так ничего и не добьешься.

Прошло много весен, я стою теперь одна на берегу уже не Оби — Невы, гляжу в черную воду. И все же отчаянно верю, что растрепанная весна — с моей родины, а зайцы были пренеменно.

* * *

Мы стояли, набившись под завязку, в мастерской одного художника. Каждый художник, если он только настоящий, однажды в своей жизни видит что-то: ангела, нечаянно черкнувшего крылом стрелку на небе, которую все приняли за след от самолета,

звезду, умершую тысячу лет назад, но забывшую досказать последнее слово, вспышку во Вселенной, от которой зарождается жизнь и гибнет цивилизация, от которой обычный человек сплывет до двух ссохшихся смородин вместо глаз, а он, художник этот, прозревает, как апостол Павел. В. М. увидел синь. Может, ту самую, про которую писал грубоватый, но чертовски красивый поэт. Ультрамарин тек по холсту, как кровь из артерии, пульсировал, бился, выливаясь то длинной северной рекой, то северным небом, то струящимся северным воздухом. На синь ложилось коричневое дерево: как крест церковный, могильный или дорожный, как зарифмованная земля, как сама жизнь. В удушье прокуренной и пропахшей краской комнаты, под «тысячью биноклей на оси» В. М., как все истинные художники, разводил руками и не знал, зачем сквозь пальцы начала струиться эта краска, повторял, что «так он однажды увидел Русский Север». Тогда закралась дерзкая мысль: привирает немного, подцвечивает, подкрашивает скупой Север, как в графическом редакторе, обманывает наивных барышень.

Год спустя увидела сама: не привирает, все правда, до слова, до штриха, до капли. В отчаянных ночных попытках выучить «еще билетик» для экзамена, как награда, провалилось это небо: высыпалась черника из лукошка, покатились, посыпалась бусинами, пролила рассеянная девушка полные ведра холодной воды с коромысла, все расплескала. И синие небо стекает вниз, затопляя собой, как половодье, как неизбежность, и медлительную реку, и бездну колодца, и море, и людей, и все пространство, делая воздух окрашенным и твердым, как тяжелый камень аквамарин на маминых сережках. Северный край сам тосклив и прекрасен, как затянувшаяся песня, своим стеклянным воздухом, который, кажется, задрожит и рассыплется от прикосновения, вязкой замедленностью слов и мыслей, угрюмой настойчивостью худых деревьев, ползущих по камням, приглушенными голосами, зияющими глазницами выбитых окон брошенных домов.

К утру кто-то мешает ложкой в небе — синева растворяется, получается взвесь, звезды немного просвечивают, как сквозь марлю. А может, краска сама отваливается, как на лепестки рассыпаются старые фрески. И что-то в этом болезненное, мое, родное. Небо линяет, как постиранное платье, выцветает, как постепенно выцветают серо-голубые глаза моей матери. Когда-то выцвели глаза ее бабки, она была похожа на белую птицу или доброе привидение, потом поблекли глаза маминого отца. По линии мамы все люди как будто растрачивают отведенный им за жизнь цвет. Я смоляная — моя краска не кончится. Но сквозь кожу на висках и руках упорно проступает сетка вен, таких ветвистых, как рукава рек на физической карте мира. В детстве я стеснялась этого, потому что разные тетki плевали себе на пальцы и пытались оттереть «чернила с лица испачкавшейся девочки». Эти подкожные реки наконец породнили меня, накрепко связали морским узлом с бесконечным пространством и небом, глубоким, как Марианская впадина, блеклой синевой северной летней ослепшей ночи и чередой людей, стоящих где-то уже позади, за правой лопаткой. Я не рассмотрю никогда их глаз.

* * *

За стенкой комнаты в общежитии слышно, как чихает сосед, как шкварчит, обжариваясь, картошка на сковородке, как неуклюже чье-то сопрано ругается матом. Сегодня за стенкой пели. Нет, не душераздирающее: «Я вижу, я снова вижу тебя такой. В дерзкой мини-юбке, что мой покой...» Откуда-то, как дым, стелющийся по земле, выползла песня, длинная, тягучая, медленно струилась по коридору, заглядывала ко мне, стекала вниз по лестнице, просачивалась сквозь щель в двери, пока кто-то выходит, пробиралась на улицу, шла топиться в Финском (тут рукой подать) заливе. Я не помню мотива. Я не знаю этого языка, но, должно быть, какой-то восточный, потому

что и слова там такие сложные — буква за букву зацепляется, — и в горле у нее камешки насыпаны, ударяются друг о друга, булькают. Не пойдешь же спрашивать по комнатам: кто поет? Наверное, она красивая, и бровь смоляной дугой взлетает, и глаза большие, грустные, и в душе — глубоко и чуть-чуть больно, иначе как споешь такое? А музыка все стелется: река где-то в горах так воды свои несет бережно, извивается, собирает в себя камни, а вокруг — темнеет, сумерки спускаются, а в ней еще жизнь вроде бы есть, даже свечение, заблудишься если, то все равно к ней выйдешь, или орнамент, вышитый на платье, каждые пять сантиметров повторяется: стежок, петелька, снова стежок, или когда долго-долго в степи едешь, а там всполохом возникнет избушка одинокая или перелесок — как острый зубец задышавшего человека на ровной кардиограмме. Или жизнь эта сама и есть — вязкая, как струйка меда, когда его свежий качаешь, как нитка шерстяная, когда распускаешь старый свитер, но в ней щелчком выключателя света, точкой и пробелом узора — рождение и умирание как условие, как необходимый закон всего сущего.

А потом кто-то стал играть на губной гармошке (да у нас тут и не такое бывает — прямо консерватория), и она замолчала. Я не помню мотива. Мотив проскользнул сквозь пальцы. Так, просачиваясь, уходит музыка, время, улыбка твоя, сердце мое, дурное степное солнце из моих глаз, память, сам сквозь пальцы свои в песок уходишь.

ПРО ЕРУНДУ

У «Сплина» появился новый альбом, а у меня — две мысли, мало связанные между собой, но возникшие не без участия одной песни из него.

Еще раз убеждаюсь, что русская музыка — это литература. А литература (хорошая) — еще иногда и музыка, но сейчас не об этом.

Я никогда не страдала орфоэпическим снобизмом. Во-первых (что тут скрывать), сама не без греха, во-вторых, Антон Павлович завещал, что хорошее воспитание заключается не в том, чтобы не пролить соуса на скатерть, а не заметить, как это сделал твой сосед, а Антон Павлович еще ничего плохого не посоветовал.

С преподавателями я перестала препираться в классе девятом, потому что поняла, что это, во-первых, бессмысленно, даже если борешься за права каких-нибудь несчастных, пожираемых племенем каннибалов, во-вторых (почти всегда), неинтересно. Сейчас веду себя очень смиренно, хоть и не знаю, чего здесь больше на самом деле — смирения или малодушия, но все-таки был несколько лет назад в несостоявшейся *alma mater* такой эпизод.

Семинар по археологии. Обсуждаем культуру, кажется, тагарскую. Я перечисляю, что было найдено в древних захоронениях. В общем-то, набор почти традиционный: погребальный инвентарь, то-се; и тут неожиданно и беспардонно всплывает береста с совершенно снобистским, как правильно положенные на опустошенную тарелку столовые приборы, ударением на втором слоге. Ну так меня научили мои филологи, извините. Далее спор о судьбах русской словесности принял рискованные обороты.

Мне: Нет, берестá!

Я: Нет, берестá!

Мне: Все-таки правильно говорить: «берестá».

Я: Розенталь бы с вами не согласился.

Мне: А кто такой Розенталь? Я знаю, что есть какой-то доктор Борменталь, а про Розенталья — нет, не слышал.

К слову, «Доктор Борменталь» — это клиника у нас такая для желающих похудеть.

Я: Я вам потом расскажу.

В итоге все остались при своих, но я еще осталась и без «автомата» по археологии.

К чему это я? Конечно, я знаю, что вариант с ударением на последнем слоге стал уже почти литературной нормой, вот и в песне так поется, и ничего, ни один филолог не пострадал, и все органично, и песня крутится в моей голове, как в зажевавшем пленку магнитофоне, уже второй день. И все-таки в «берёсте» есть что-то эстетское, как в слегка отведенном пальчике руки в балетной позиции или простом карандаше вместо (о боже!) шариковой ручки, когда строчишь что-нибудь в музее. Но недавно мне показалось, что Андрей Вознесенский, учивший, что «не ерунда важна, а важно, что пришел, что ты в глазах влажна», уже давно всех помирил.

Да и почти случайно подслушанное на днях: «Самого главного я вам все равно не скажу» — уж воистину так точно, так правда, как вовремя прочитанная молитва, что хоть бери подстрочником для жизни.

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Душа и вправду не ведает судьбы. Мне кажется, я почти достигла той степени виртуозности и научилась слушать неинтересные лекции, брать интервью у косноязычных людей и видеть смысл там, куда его не предполагали вкладывать. Случайные воды стекаются вместе — получается море, случайные звуки — шум или даже музыка. Предупредили: особых откровений не ждите, да я и не жду. Ну, о возможном снобизме музейных работников рассказали, это вот, конечно, не очень для человека, у которого самооценка и так ниже плинтуса, а если еще и высокомерием придавить, — так от меня и вовсе останется контррельеф. Заранее думаешь, как вести себя в таком случае: опираться, как ерш, или затаиться, как запечный сверчок?

В ходе сложных логистических операций, неведомых человеческому разуму, как Божий замысел, я оказалась практиканткой в Михайловском замке. Михайловский замок сам по себе — место, внушающее не то чтобы страх, но какую-то неуверенность. Вторник, музей закрыт для посетителей, решетка, еще решетка на входе. Полудремлющий охранник, опрометчивая попытка сунуться не в ту дверь, из недр помещения высовывается некто с окриком: «Дама, дама, вы куда?» Расстраиваюсь, хватаю зеркальце, смотрю на себя, двадцатидвухлетнюю, в пуховике, рюкзаке и шапке с торчащими «ушками», что могло вызвать столь обидное определение, ничего не нахожу, успокаиваюсь. Наконец встречает женщина из отдела, где буду работать. Красивая, в возрасте. Живые умные оленячьи глаза, что-то среднее между Татьяной Самойловой и Одри Хепберн. Галина. В отделе, куда меня приведут и который светится тремя желтыми окошками под самой крышей замка, сидит еще одна — так что концентрация Галин на квадратный метр явно превышена.

— Кто вы по гороскопу? — Г. А. спрашивает.

Я, поддавшись ее очарованию, прячу свой пыл революционного матроса, что, мол, ерунда это все, не верю:

— Овен.

— Вот и хорошо, значит, упрямая и трудолюбивая.

Приходится соглашаться — овен так овен.

В. А. нас все спрашивал: перед чем благоговеешь? Да много перед чем на самом деле. Перед людьми, одержимыми своим делом, которые из всей этой крошечной тьмы смысл выхватили, им свет где-то впереди померещился — они и идут на него на ощупь, наугад, не сбиваются. Все дело-то в том, что бытие мое часто мне кажется каким-то бессмысленным, бестолковым — одно сплошное «бес». И вот иногда я встречаю людей, которые как будто что-то нашли, что-то поняли — значит, земная жизнь не такая уж

и бездарная вещь, если у них получилось. Мне просто достаточно знать, что они существуют, и видеть их хоть краем глаза.

Г. А. ведет меня, как Орфей, не то чтобы по царству Аида, но все же по подвалам замка (того и гляди, тень Павла I мелькнет — а что, мне бы тоже не понравилось, если бы по моей квартире ходили всякие незваные). Наконец выбираемся в отдел скульптуры XVIII века и антиков. Солнце скользит за нами сквозь анфилады залов, не догоняет. Г. А. замирает у «Минервы», я не знаю, отблески ли солнца пляшут на зрачках ее двух пронзительных, смотрящих в самую суть меня черных смородин, сами ли они излучают что-то. «Минерва» тоже погружается в вязкое облако обволакивающего солнца и подсвеченных пылинок, мрамор теплеет, плавится воском, контуры становятся зыбкими, мягкими, еще чуть-чуть — и дрогнет уголок ее рта. «Вах», совсем не наглый, пока что не разомлевший от вина, тоже светится какой-то особенной одухотворяющей силой, мне кажется, он ее узнает. Вообще, в этом всем есть что-то от утреннего обхода врачом палат больницы: все ли живы, как себя чувствуют. На старости лет я, грешный человек, полюбила песни одного музыканта, которые обычно начинают ставить на «репит» в более юном возрасте, но в то время я играла на фортепиано этюды и участвовала в олимпиадах по МХК, так что все пропустила. Так вот, у него, точнее у нее, есть строчка: «Я помню все твои трещинки». Мне кажется, Г. А. помнит их у всех своих «Минерв», «Вакхов», «Аполлонов», «Диан» и прочих каменных идолов, ночью разбуди — скажет. Выходим на верхнюю площадку парадной мраморной лестницы — пустота и величие: ни щелкающих тебе фотоаппаратами туристов, ни «посмотрите налево/поверните направо».

— Замок, конечно, немного давит, а на лестнице нет такого ощущения, вот почувствуйте себя здесь.

Чувствую. Здесь действительно много воздуха и пространства, и оно спадает мощным потоком, как водопад, как ГЭС, по сходам лестницы вниз. Нужно все-таки, чтобы был кто-то, кто рассказал бы про такую лестницу или про барочный собор, который вот-вот сейчас оторвется от земли, сбросив нижний этаж, как отпавшую ступень ракеты, и улетит в небо. Вот как быть искусствоведом, когда у самой духовное зрение минус шесть?

Но это все так, прелюдия, увертюра, замануха. Работка у меня пыльная — разбирать архив, до которого уж не знаю сколько лет не касалась рука человека. Касаюсь — ладонь покрывается серебряно-черным налетом. В архиве документация на любой вкус — от сметы на устройство канализации в Летнем саду до сценария детского праздника по мотивам басен Крылова. Мне иногда кажется, что неудержимое стремление плодить столько бумажек (впрочем, как и столько букв) — это какое-то подсознательное средство борьбы со страхом смерти. Страшно умирать, а здесь — оставил после себя кипу бумаг, материальный след, закрепился в истории — уже и не так. Без бумажки ты букашка (или что похуже). Среди архивных дебрей нахожу распечатку с цитатой Петра I, суть которой сводится к тому, что свои проекты нужно делать хорошо, а кто будет плохо — того бить кнутом и ссылать куда попало. Улыбаюсь.

В отделе свой особенный мир. Если кто-то смотрел фильм «Кококо», то сразу бы узнал эту незримую общность, роднящую всех научных сотрудников, как балетных — выправка или шахтеров — черные несмываемые вкрапления в глазах. Все-таки Дуня Смирнова — гениальная женщина. Время просто не доползает до верхнего этажа, уважительно обходит стороной. Здесь эпоха безинтернета, не работает принтер, не признают точилки для карандашей, вечное обращение на «вы» и радость оттого, что кто-то вычитал, что первые слова маленького Петра Петровича были «мама», «папа» и «солдат». Зовут меня пить чай с ними пять раз в день — соглашаюсь, но только (не наглею) один. Вообще, пришла к выводу, что одна из главных черт интеллигента — уважение к человеку заведомо, заранее, просто потому, что он — человек. Я училась

в школе, которая по местным меркам была довольно «крутой», у нас были интерактивные доски и не было обшарпанных грязно-зеленых стен в коридоре. Это, конечно, гораздо лучше, чем среднестатистическая школа городских окраин, но если у меня когда-нибудь будут дети, я не отдам их туда. Нас учили почти всему, только не научили, как это — быть человеком. Был какой-то вымученный, как советская пропаганда, культ педагога: лакшери-ватерклозет для учителей, в который боже упаси зайти простому смертному, и огромный трехметровый забор из самомнения — непреодолимое расстояние.

Прошло четыре года — я сижу с кандидатами наук за одним столом, и они разговаривают со мной вроде на равных. Конечно, я изменилась: внешне, но не настолько, чтобы быть неузнанной, и внутренне, но все то, за что меня можно было уважать и не уважать, — осталось при мне.

Из бесконечных разговоров за чаем я узнала:

- сотни историй про безвинно покалеченную скульптуру Летнего сада и героическое ее спасение;
- что мне повезло учиться в то время, когда искусствоведов (да и не только) не заставляют проходить обязательные курсы военных медсестер. Г. А. заставляли. Говорит, сидела на этих курсах зажмурившись и заткнув уши: становилось плохо. Потом нашла способ — стала рассказывать больным про искусство. На вопрос: «Кто же тогда ставил уколы?» — кокетливо отводит блестящие молодые глаза в сторону — видимо, кто-то другой;
- здесь могут говорить вместо «флешка» — «флеша». (Ну, «кура с гречей» — я смирилась, даже перед сибирскими друзьями гарцую этими словечками, «сосуля» — уже странно, но «флеша»?).

«Милосердное время не тронуло этих мест», это правда. Чтобы сломить сложившийся порядок вещей, чтобы провести Интернет и сделать так, чтобы молодых сотрудников принимали без кумовства не внештатным помощником помощника, нужен, наверное, новый Петр, а может, и не один. Но иногда мне кажется: а надо ли? Пройдет еще десять лет, пятнадцать, а три желтых окна так же светятся под самой крышей замка, люди все сидят за овальным столом, и лишь иногда — яркое зарево вспышки — отдельные стулья внезапно пустеют — вот это уже по-настоящему грустно.

Андрея Кураева, по-моему, как-то спросили: не кажется ли ему, что все противоречия, неправильности, несовершенства мира являются доказательством отсутствия Бога — он сказал, что, наоборот, для него это как раз символы присутствия и сложности замысла, знак качества, если так можно сказать.

ОКРАИНЫ

«Если никогда не пойдешь в лес, с тобой никогда ничего не случится». Я не ходила. Ни в лес, ни в поле, ни даже за/на гаражи. Как мне удалось при этом вырасти нормальным человеком? Не знаю, удалось вроде. С особенностями, конечно, развития, как это модно сейчас говорить, но все же. Пуще всего, однако, я боялась городских окраин. Они представлялись какими-то верхними, самыми прохладными кольцами ада, случайно наслоиившимися на пространство, такой его промоверсией. Это как у Аврелия Августина: зла и подавно нет, есть только добро, но оно как солнце — чем дальше от него, тем хуже. Казалось, что на городские окраины просто не хватило эманаций разумной жизни, здравого смысла и нормативной лексики, а потому несчастные люди, случайно выжившие, как в страшных фильмах, после атомной войны или инопланетного вторжения, бродят там впотьмах без цели и смысла.

Но я утрирую, конечно. На самом деле было чего бояться. До моих пяти лет мы жили в спальном районе города Б. в доме, куда расселили людей из даже — нет — не двенадцати комнатных коммуналок (это вам не Питер), а из деревянных бараков, чудом уцелевших чуть ли не до 70—80-х. В этом доме соседи сверху били свою собаку так, что к нам по батареям текла кровь и был слышен каждый чех за стеной, потому что горе-архитектор что-то напутал с сэндвич-панелями. В Древней Месопотамии, кажется, убивали строителя, если от дома что-то отваливалось и этим чем-то убивало сына хозяина дома. Но у нас, говорят, гуманизм. Переезд казался волшебным. Представлялось, что приедет подъемный кран, поднимет наш дом и перенесет его в центр, аккуратно на площадь Советов или Сахарова. Однако произошло иначе, и меня печалило только одно: что моим будущим шести детям придется тесниться в маленькой, хоть и в хорошем районе, квартире (впрочем, «шесть детей» — это результат уже тогда проявившегося математического кренинизма, на самом деле планировалось «два мальчика и две девочки, а всего шесть»). Но все равно было весело. Нанятые за ящик водки мужики сомневались, заносить ли пианино, но мама посмотрела на них строго, и их старший бригадир (если это так можно назвать) скомандовал: «Несите „Шопена“!», и они послушно понесли «Шопена» на пятый этаж. Я мешала, сновала из комнаты в комнату, и меня, тогда маленькую худую шуку, передавали на руках через дверные проходы, и я взлетала над заваленным баулами и коробками пространством не хуже шагаловских влюбленных.

Уже будучи взрослой, я посмотрела спектакль «Поток» в местном Молодежном театре. Это была остросоциальная вещь с примесью экзистенциального ужаса, порожденного средой, но в конечном итоге могущего существовать и без нее. Поток — это такой спальный район в Барнауле, каких в России тысячи, кошмар алкогольной амнезии заблудившегося Лукашина из «Иронии судьбы». Режиссер, питерский кстати, играл со словом «Поток» в значении конкретного района, потока сознания и потока человеческой жизни. Больше всего в спектакле мне понравилась программка, в которой было написано, что «Поток» универсален, что в Питере тоже есть свой «Поток» — это Ульянка и Купчино, например, и что жизнь происходит там, а не на Дворцовой площади. Я была согласна с режиссером, но решила, что лучше я надену пакет на голову или аквариум и буду дальше учить МХК, чем такая жизнь.

Как ни странно, в Питере меня поселили не в Купчино, а на Васильевский остров, на дальнюю его оконечность. Культурная память сразу предательски подсказывает, зачем приходят на Васильевский остров, и хоть в первую же неделю я заболела жутким бронхитом (меня не узнавали по телефону и просили позвать Галю), но не тут-то было. Остров оказался не столько окраиной, не спальным районом в бытовом смысле, а просто краем, обрывком пространства, концом человеческой ойкумены, как раньше кто-то из древних считал, что за Черным морем какой-то финиш, Мордор. Просто кончалась земля и начинались небо и море. Петр в своей горячности рубил этот парадиз топором, да ударил резко, и остров, какой-то немного недоделанный, неоконченный, остался открытым концом, рваной раной у Финского залива. Знаете, он очень похож на грушу неправильной формы или сердце, настоящее, не мультипликационное, такое, какое бьется в открытой грудной клетке во время операций по телевизору. Рядом со мной на острове были кладбище и морской порт, хоть плыви на все четыре стороны. Но я полюбила и кладбище, и порт, и даже мокрый воздух, которым можно умываться, если просто выйдешь на улицу.

А потом я переехала на юг, на юг Петербурга, разумеется. Вот это уже настоящая окраина. Я трачу больше часа, чтобы добраться до учебы, и все равно стабильно опаздываю на десять минут. Я ныряю в метро-душегубку, и лица пассажиров, как на групповых портретах какого-нибудь Халса, выхваченные из темноты неверным тусклым

светом и вставленные в раму окна мчащегося вагона, уже делимы мной на несколько типов: вот девушки-студентки с длинными, на прямой пробор волосами, каким-то чудом покрашенные в девять утра, бывшие партработники с непроницаемыми, бронированными лицами, девушки-студентки с гулькой на голове, ненакрашенные, молитвенно повторяющие конспекты, бабки, сжигающие взглядом за неуступленное место, и «просвещенные» бабки с ясными глазами, отказывающиеся от места, — и поверх всех них — мое серое, потухшее лицо, перечеркнутое надписью «не прислоняться». Но мне нравится такой расклад, что от необходимости преодоления времени и расстояния усилие становится более осознанным. По вечерам на фасадах многоэтажек проступает космос огней, и я уже знаю, в котором часу появится местная Андромеда или Большая Медведица. Часам к одиннадцати все сливается в один сплошной Млечный Путь, и только пролетающий где-то сверху самолет подмигивает мне сигнальными огнями (я все равно не переплону быковское слегка богохульное, но классное сравнение про «окурки Божий»). Когда жила на острове, слышала гудки уходящих кораблей в порту, теперь слышу и иногда вижу самолеты (рядом — Пулково) и хочу только одного — чтобы самолет долетел. Мне нравится эта центробежность, эта потенциальная попытка к бегству и возможность кратчайшего пути ее осуществления, нравится это непрерывающееся движение как доказательство еще не прерванной жизни вокруг и в себе. Мама, беременная мной, любила смотреть из окна на поток машин, скользящих по ночному шоссе, потому что ей было тревожно, но машины летели, и становилось спокойнее, и она все считала, сколько ей будет лет, когда мне будет десять, пятнадцать, двадцать. Мне нравится эта маргинальность, пограничность, конфликт пространств, потому что на границе света и тьмы рождается что-то третье, потому что метисы, как правило, красивые, потому что *opus mixtum* (кто знает, тот поймет) — это гениально, ей-богу.

* * *

Отчетливее всего я осознаю, что в последнее время живу «не дома», когда наблюдаю очередной свершающийся цикл сезонных ритуалов — этакая повседневная домашняя магия: вот сейчас, например, в промышленных масштабах все скупают стеклянные банки, уксус и лаврушку, чтобы накрутить столько солений, что все равно никто не съест, и все это будет храниться бог знает сколько лет в погребе или кладовке (триста? пятьсот?), пока дотошные археологи не раскопают, как сейчас где-нибудь в Италии или Франции то и дело раскапывают непотчатые бутылки вина. Ну, яйца, конечно, на Пасху крашу, но все равно как-то не то. Я, дремучий человек, не признаю всех этих люминесцентных красителей, я за простые ассоциативные цепочки и ясные метафоры. Яйцо на Пасху — это ведь, по сути, камень в крови, и точка. А лучший кровавый цвет, именно кровавый, не фуксия — вырви глаз, не цикламен — привет, Барби, дает луковая шелуха. Я плохо подготовилась в тот год и пошла побираться по окрестным магазинам в пятницу вечером, когда у уважаемых матрон уже и яйца маслено блестят, и глазурь бесформенным липким айсбергом, в который как бы выстрелили из хлопушки, стекает по куличам-пенькам. Продавцы в «Пятерочке» смотрели на меня непонимающими раскосыми глазами, в которых было все что угодно: и змеиный шелест песка среднеазиатской пустыни, и жестокое, как восточная деспотия, солнце, и резкий призывный вскрик муллы на минарете, и свежий, как глоток ледяной воды, отблеск лазурной майолики на куполе Биби-Ханым, но только не вера в то, что я не Роспотребнадзор, который пришел снимать какие-то неведомые пробы и просит ради всего святого — Бога, пусть даже и Аллаха, если вам так хочется — позвать администратора и дать наконец луковой шелухи со склада.

Еще я скучаю по противному запаху варящегося капустного супа, который я не ем, впрочем, как и соленья. Но это все по части домашней ностальгии. Что же касается уличной, то тут, пожалуй, грущу разве что по вечному песку в туфлях (жила-то в Барнауле на Песчаной улице, и мне кажется, что на месте и моего дома, и двух детских садилов под окнами с функцией будильника по утрам было какое-то древнее море, прекрасное в своем величии и равнодушии), по особенному свойству воздуха, который в расплавленном при плюс тридцати по Цельсию виде умеет застывать в состоянии теплого желе, промежуточном между ветром и покоем, по возможности выйти на улицу летом без куртки и точно не вернуться с пневмонией.

Но мир устроен по закону контрапоста: изъятие и высвобождение чего бы то ни было в одном месте неминуемо влечет к образованию и народжению новых материй. Курс валют нынче странен, порой обсчитывают, и взамен я получила немного, но все же: во-первых, ощущение скорости, когда поезд летит по тоннелю метро так быстро, что кажется, что с кровью и плазмой произойдут какие-то необратимые процессы, но вся память чужой ингерманландской земли, вся хитрая болотная нечисть, весь мох и лишайники на камнях все равно как-то успевают просочиться из этого тоннеля в открытые форточки вагона; во-вторых, ощущение неба, настолько близкого, что чувствуешь себя выросшим на несколько сантиметров, настолько приставленного к тебе, что, пожалуй, нужно редактировать мысли, чтобы Бог ненароком не услышал все твои думы окайнные, мысли потаенные, а то мало ли что.

* * *

Кто о чем, а подводник о подводной лодке, конечно. Может, только от острого дефицита пусть нездорового, чахоточного, но все же солнца я с настойчивостью человека, страдающего навязчивым расстройством, говорю, пишу и думаю о свете. Ни коралловые рифы, ни Ниагарский водопад, ни соляные пещеры, ни наслоение древних пород, ни каменные столбы, ни Ленточный бор — ничего не захватывало меня так, не удивляло, не останавливало дыхание, как простой луч света, просверливающий тьму насквозь. Порой, когда он после месяцев томительного — с ноября по февраль — ожидания, как стыдливый гость, не посещавший тебя долгое время, все-таки робко прокрадывался в мою комнату и прочерчивал тонкую блестящую биссектрису от заплеванного окна до темного угла и снова прятался, я подходила к оставленному им узкому отверстию-тоннелю в пространстве, чувствовала в нем дребезжание таких мелких-мелких частичек (не пыли, а чего-то еще: их видно, когда прищуришься) и легкое приятное жжение на ладони. Но потом и оно исчезало, и оставались серая простуженная комната и долгое-долгое невнятное воскресенье (не люблю воскресенья), когда утро незаметно переходит в сумерки, а там, глядишь, и в ночь.

Я встречала разные варианты света: наглый университетский (от него закрывались специальными ставнями, чтобы не мешал рассматривать диапозитивы), пыльный дачный, терпко пахнувший церковный, но ярче других был свет больничный.

Из всех детских травмирующих практик я испробовала не так уж и много. Я не засовывала пальцы в розетку, не лизала качели, не ломала позвоночник (скучно жила, однако). Словом, я почти не делала ничего такого, угрожающего собственному здоровью и мировой безопасности. Из послужного списка — разбитый висок да разве что отравление церукалом (правда, не совсем по моей вине). От первого осталась заметная до сих пор вмятина (я тогда лежала на коленях у мамы примерно в иконографии «Иван Грозный и его сын Иван...», истекая кровью), от второго — память о первом самостоятельном лежании в больнице.

Дозировка этого церукала была сильно превышена (нужно было рассчитывать дозу, как для кошки, по моему тогдашнему весу (куда что делось), а не как для человека). В общем, судорогой свело шею, и я могла смотреть только в одну сторону, примерно как Наталья из «Тихого Дона». Мама искренне считала, что погубила меня. Дальше: «скорая» с мигалками, приемные покои, врачи, не знающие, что со мной делать и какому богу помолиться от этой напасти. В больнице мне категорически не понравилось. Я послушно шлепала в тапках, сползающих колготках и майке за толстой медсестрой по бесконечному коридору. Потом в палате над моей кроватью повесили табличку с моими именем и фамилией, что тоже было, во-первых, неприятно (я же не вещь, чтобы меня подписывать), во-вторых, как-то зловеще-пугающе (я сразу подумала, что меня подписали на случай возможного летального исхода). Из всего спектра медицинских услуг было предложено вечернее кормление манной кашей с ложки — человеческое достоинство было попрано и растоптано окончательно. Вдобавок ко всему освещение полностью не гасили, а где-то там, за головой, оставалась назойливо гореть мертвецкой желтизной одиноко свисающая лампочка. Потом от одного человека, отсидевшего за антисоветскую агитацию, я узнала, что в тюрьмах, оказывается, свет тоже не гасят.

Слава отечественной медицине, исцеление пришло неожиданно на следующий день (манная каша ли подействовала, злые чары ли потеряли свою силу), но шею как-то отпустило. Во времени я, конечно, потерялась (часов не было). Впрочем, великий Водолазкин учит, что времени и вовсе нет, потому что его нет в контексте вечности и в раю, например, тоже нет, ну а больница — место, сами понимаете, пограничное, там всякие чудеса бывают. В общем, я не знала, утро это или вечер, но свет лился в палату неотвратимо, беспощадно, снопами через огромное, с человеческий рост, больничное окно поверх крыш девятиэтажек спального района, иногда зацепляясь за антенны, где оставался клочками, трепетал, как язык свечки, как оторванный клочок ткани, и угасал. По силе этот поток был примерно как петербургские наводнения до строительства плотины, как девятый вал, как специально взорванное здание, как, простите за низкое сравнение, прорвавшаяся у нас однажды дома батарея с кипятком. Я лежала, смирившаяся со своей участью, на железной, рахитичной, корытоподобной кровати и удивлялась, как медсестры не замечают этого потока, как удерживаются они при этом на ногах или, напротив, не вязнут в нем, как насекомые в янтаре, и как они еще похожи на пчел в липком меду. Но мне скомандовали: с вещами на выход, и я не успела досмотреть, чем все кончилось.

Все-таки это было утро, и мы ехали с мамой в такси по заспанному городу. Теплая бледная мама, боящаяся за меня, как за китайскую вазу эпохи Цинь, пахла домом, я, нерасчесанная, неумытая, пахла больницей. Это было, кажется, Восьмое марта или что-то около, утренние джентльмены несли, как факелы на олимпиаде, подмороженные одинокие розочки на длинных стеблях, какие-то кули и свертки. И наша старая «Волга», и эти мужички — все вязли в кашеобразном, с нарушенной чередующимися оттепелями и заморозками структурой, снеге, таком же безнадежном и измученном, как слипшаяся овсянка, что я варю по утрам, все время путая пропорции. Серая мартовская невнятность взяла свое, небо — как застиранная некогда белая кофта, и весь этот свет остался, наверное, в больничной палате — неоцененный (как будто бы принятый за дешевую подделку), ненужный подарок для ничего не ведающих медработниц, а я, как бессловесный немой (потому что нужных слов еще не изобрели), так и буду мычать и махать руками в надежде описать увиденное, как человек, встретивший НЛО, но все будут только кивать и вежливо улыбаться, и никто не поверит.